

# Камертон

*В каком году — рассчитывай,  
В какой земле — угадывай...  
Н. Некрасов*

И снова толчками за мутью стекла  
развалина очередного вокзала  
с разбитым перроном назад поплыла.  
«Простите... я вас не расслышал...» — сказал он.  
В вагоне кипел нескончаемый спор  
о вечных проблемах, о клятой политике:  
схватились, друг друга беря на измор,  
крича и ругаясь, задиры и нытики.  
Пока электричка ползла под уклон,  
ее пассажиры, сельчане и дачники,  
случайно сойдясь за плацкартным столом,  
азартно трясли кулаками табачными:  
всяк ведал азы прогрессивных начал,  
командовал миром, ворочал реформами.  
И только один безучастно молчал,  
в окно за столбами следя семафорными.  
Рыбак ли, грибник? Ни ведра, ни бахил.  
Пристали с пристрастьем. Мотнул головою,  
как будто очнулся, и сам повторил  
задумчиво: «...о существующем строе?»

И вдруг загорелся: «О, как удалось  
меня угадать вам, не зная заранее!  
Меня, изучившего тему насквозь  
и этого строя слугу по призванию!  
Все знают, конечно, что раньше другим  
он был, — среднетоновым и пифагоровым,  
и, шаткостью низких частот уязвим,  
он в их диссонантах ворочался боровом.

Согласен, возможно, что позже найдут и более точный уклад температуры, — и вычислят тоньше размах амплитуд, — об этом бы даже не стал препираться я, но, строй сберегая, я, собственно, сам лишь тем и живу, чтоб, убрав посторонние помехи, его привести к образцам, приближенным к точной и чистой гармонии!..»

В чугунном молчанье, накрывшем вагон, застыли слова, и предметы, и спорщики, узлы на полу, на столе самогон и тяжкие запахи быта прогоркшего. Лишь чей-то под лавку засунутый таз звенел, да стучали колеса рассыпчато. «Блаженный», — шепнула, неловко крестясь, старушка в дешевом заношенном ситчике. Оратор, смутясь, огляделся вокруг, как будто кого призывая на выручку, полез по карманам и выронил вдруг с пронзительным звоном двузубую вилочку. Нагнулся поднять, уронил сгоряча опять, распрямился и с видом сомнамбулы направился прочь, извиненья шепча, и скрылся за дверью в грохочущем тамбуре.



Выучили: *ars longa et vita brevis*.  
Вот бы и жить, красивым словам доверясь.  
Правда на деле труднопроизносима.  
Ели и клены нежную древесину,  
вызревшую под солнцем на лесосеке,  
и смоляную кровь отдают на деки.  
Кроткий тростник гобоям идет на трости.  
Славно, что молча. А вот слоновой кости  
музам слоны — убей, отдать не хотели,  
бились, трубили, — не то что клены и ели.  
Шкуры с быков сдирали, скребли, сушили,  
нежные из ягнят вырывали жилы,  
а у коней хвосты выщипывать приходилось,  
разве для развлечения, скажи на милость?  
Перья вороньи плектрами (так красивой)  
жить продолжают стайкой внутри клавесина.  
Костью слоновой гладкой, белее манны,  
мастер покроет клавиши фортепяно,  
кожа быка барабан обтянет в облипку,  
волос пойдет в смычки, древесина в скрипки,  
струнами вмиг натужатся сухожилья.

Души слоновьи, бычьи или кобыльи  
в смерти сольются разом, чтоб честь по чести  
гимны короткой жизни пропеть в оркестре,  
с полной самоотдачей и резонансом:  
чтобы сыграть «Карнавал животных» Сен-Санса.

## Подросток

С Нефшательской дороги, от лиловых холмов  
с виноградниками, с меловой горки горбатой,  
по траве и мху, через сныть и болиголов  
на вспотевшем коне усталый скачет глашатай.  
Пара всадников сзади. Тускло сипит труба,  
в трех шагах не слышна, дорожной пылью забита,  
но для маленькой деревушки, где молотьба  
да подвязка лоз все заняты, — уже событие.

Побросав серпы, за герольдом бегут толпой,  
не дочистив овина, кинув хлеб у загнетка.  
Выгнув грудь, с надсадом, в сотый раз вестовой  
лает новости, надрывая сухую глотку.  
Англичане теснят, союзников шатких — глядь  
и нету, в отступленьи на юг половина  
перебита лучников, и потому призвать  
нужно новых рекрутов по веленью дофина.

...В стороне от деревни, в рощице у ключа,  
на поляне, заросшей викой и майораном,  
лбом уткнувшись в колени, плачет, что-то шепча  
удрученно, девочка в платьице домотканом.  
Подавляя всхлипы, ладонью по телу вдоль  
от ключиц до бедер проводит, трясутся плечи.  
Боже правый, за что, за что мне такая боль,  
за какие грехи такие противоречья?

Что мне делать с собой, я в теле моем живу,  
словно гость или враг, и женского нет ни капли  
ни в душе, ни в мыслях! неужто вот так в хлеву  
и пропасть мне, с грубым подойником вместо сабли.  
Если б мне не чепец, но шлем, не метлу, но меч,  
если б лук с доспехами вместо постылой прялки,  
если б кинуться можно было рубить и сечь  
наравне с мужчинами в жаркой кровавой свалке,

все бы лучше, чем очи долу да косы плесть.  
Боже, смилуйся надо мною, о, если б тайно  
ты во сне шепнул или голосом подал весть,  
что ниспосланное тобою — лишь испытанье.

Только нет, ничего не выйдет... Боюсь сама богохульств своих и на исповеди не смею ни словечка сказать об этом. Схожу с ума и живу не своею жизнью, да и ничьёю...

Глубоко вздыхая, девочка смотрит вокруг.  
Нет, никто не услышал, лишь ручей да деревья.  
Мать рассердится: я с утра обещала тюк полотна отнести соседке. Пора в деревню.  
Слышен топот: несутся дети с края села, башмаками стуча по мостовому настилу:  
*Жанна, Жанна,  
ну где ты ходишь,  
где ты была,  
все опять проворонила!  
все, все пропустила.*

## **Картинки с выставки**

Сто лет, как голова жирафа  
скатилась — и не скажешь: с плеч.  
Из несгораемого шкафа  
и посегодня не извлечь

архивов, сросшихся со сталью,  
имен, сроднившихся с тюрьмой.  
Пусть реставраторы состарят  
картинку, уравнивая ценой

с оригиналом: хватит денег  
у тех, кто ныне сановит,  
купить коня, назвать Мгновенье  
да на скаку остановить.

Эпоха, по подвальным окнам  
засев, глядит исподтишка,  
блестя булгаковским моноклем,  
стеклянным глазом Бурлюка.

\*\*\*

Не то, чтоб именно Алеппо;  
пусть будут Витебск или Брест  
сюжетом для панно и сепий —  
да мало ль живописных мест.  
Фон — подходящ, натурщик — кремов  
и гол в любых концах земли,  
где комиссары в пыльных шлемах  
искусство с жизнью сопрягли.

Добавить красного — и в воздух  
пейзаж летит, эффектно ал,  
и с ним повозки, люди, козы —  
что твой Шагал.

\*\*\*

Суть петуха с картины Сутина  
с разинутыми потрохами  
видна в подставленной посудине:  
все то, что пыжилось, порхало,  
что петушилось, кукарекало —  
течет туда. Какой по сути нам  
еще трактовки, если некое  
наглядное для всех адамов  
дано, чего не докумекали  
экскурсовод и нострадамус?

Бродя по выставке счастливыми  
мишенями земного тира,  
зовем красу кишок и ливера  
богатством внутреннего мира.  
Живи, кровопусканье празднуя,  
смотришь, пока не опротивело,  
в искусство, жизни сопричастное,  
взамен зеркального осколка.  
Почаще наряжайся в красное:  
год Петуха продлится долго.

## Сказка

У Вильгельма и Якоба Гриммов  
в старой бюргерской сказке, которую  
знает каждый — про четырех пилигримов,  
престарелых, понурых, на скорую  
руку сбившихся все в одну компанию, —  
был другой вариант, не включенный  
в детский сборник. Во взрослом издании  
петуха собирались зарезать, поскольку оный  
хоть еще голосил всю в Богородицын  
день, и цыплятам казал горделивую статью,  
да топоришил на тыне хвост, когда распогодится,  
но — «не мог уже кур топтать».

Он, конечно, пошел со всеми,  
как умел дружил, примечал огонек в лесу,  
на разбойников лез и друзей караулить в сени  
на шесток взлетал, отоспаться позволив псу,  
но на доньшке петушиной своей души  
он-то знал, что все прошло на его веку:

как ни ешь да спи, и перья как ни ерши,  
но гаремного, сладкого, сытого кукареку  
не пустить корнет-а-пистоном уже, и время  
миновало, чтоб взмыть на шпиль золоченый в конце пути  
в иллюзорный, хмельной, утраченный город Бремен,  
до которого не дойти.

## Англия

Встречала близящийся берег  
рукоплесканьями вода.  
Расположилась, как в партере,  
в заливе лодок череда.  
Они покачивались, мокли,  
по пояс погружаясь в рассол.  
Иллюминаторов монокли  
вальяжно наведя на мол,

паром, устроившись недурно,  
разглядывал, задравши нос,  
как с меловых утесов Дувра  
пускает ветер под откос  
гурьбы гагар, пригоршни чаек,  
в момент замусорив залив,  
пунктиром птичьим размечая  
границы судоходных нив.

Он медлил заходить в фарватер,  
покрытый тьмой живых крупиц,  
по клочковатой влажной вате  
в воде качающихся птиц.  
Обрыв прибрежный, зубы скаля,  
прибоем десны полоскал,  
прилив, как крышкою рояля,  
волной захлопывал причал.

В глазах рябило. Свет дневалил,  
вертело солнце калачи,  
из поднебесных готовален  
достав блестящие лучи,  
вонзало циркулями в бухту,  
чертило блики и кружки, —  
а чайки ссорились, как будто  
хотели наперегонки

склевать искристую приманку,  
набить сиянием зобы,  
чтоб горло высветлить с изнанки  
и крики хриплые забыть.

Пекло. Все длилась солнца шалость  
над милями морских саванн,  
и по-английски, не прощаясь,  
из бухты уходил туман.

\*\*\*

Так пахнет чаем в Англии трава,  
настоем дикой мяты и душицы.  
Все живо в ней, и край любого рва  
шевелится и тихо копошится.  
Все в живности: покажется, что высох  
на солнце луг, а всмотришься — ничуть.  
И в жимолости шорохи, и в тисах  
возня; в овсе, что вымахал по грудь,

малиновка горит; поодаль мелко  
дрожат шпалеры одичавших роз  
и слышен чей-то свист; на пихте белка  
сидит, хвостом изобразив вопрос.  
Кидается то в поле, то к откосу  
отпущенный побегать фокстерьер  
и столбенеет, если из-под носа  
выпархивает вдруг — овсянка, сэр!

\*\*\*

В стране единорогов их самих  
живьем уже не встретить: оттого ли,  
что корм не тот (по слухам только жмых  
сухой они едят), не то в неволе  
им не житье; иль веры в них в обрез,  
иль с девами какая катастрофа, —  
они ушли в геральдику, как в лес,  
и на монетах повернулись в профиль.

Попрятались в печати и гербы,  
в приют латыни, в заросли девизов,  
застыли там, поднявшись на дыбы,  
тем самым словно нам бросая вызов:  
Essemus\*! Как найти теперь твой след,  
животное нездешнего покроя,  
где взять набор подсказок и примет  
чтоб отыскать тебя, как Шлиман Трою?

Со временем все раздается вширь.  
Пропорции и мерки изменились,  
как и ландшафты: там исчез пустырь,  
здесь небоскреб на месте рощи вылез.

---

\* *Мы были!* (лат.)

И если зорко посмотреть с холма,  
прищурившись, на городок в долине,  
 заметишь, что дубравы бахрома  
обводит силуэт: он, странно длинен

и крепко сбит, лежит, срастясь с землей,  
домами, переулками; деревья  
смыкают кроны, вылепив листвою  
громадину невиданного зверя.  
Века прошли, как на спине он лег  
и спит с тех пор в багульнике и вербе,  
наставив в небо потемневший рог,  
прикинувшийся шпилем старой церкви.

## ГОРОДА

### Тбилиси

*Цури Мегрелишвили*

Сгустившийся к вечеру смог  
синее, чем спелая смоква.  
Из оперы пенья поток  
струится в открытые окна,  
как будто бы плещут веслом —  
так музыке тесно в партере,  
и горестно Абесалом  
тоскует о нежной Этери.

Носясь от балконных перил  
театра к отелю напротив,  
кинжальными взмахами крыл  
с присвистами при развороте  
на порции режут стрижи  
горячий проспект Руставели.  
На крыше театра лежит  
и жмурится, слушая трели,

прижившийся в опере кот,  
привыкший к шумам и шуршаньям,  
при смене вокальных частот  
слегка поводящий ушами.  
Он смотрит вокруг и поверх,  
над городом чутко дежуря,  
как витязь — в природной своей  
оранжевой тигровой шкуре.



Ему открывается вид  
на сквера зеленую рамку.  
Кулиса платанов пылит,  
реклам разгорается рампа.  
В витринах средь прочих чудес  
сияют круги сулугуни,  
как будто идут на развес  
запасы литых полнолуний.

Он взгляд переводит туда,  
где блики от кровель покатых  
вливаются в ночь без следа,  
где небо в холодных цукатах.  
Он гулко урчит на закат,  
на розовость тучи лососью,  
и слышит ответный раскат  
грузинского многоголосья.

## Будапешт

*Ирэне С.*

Как будто с кем-то ссорился колосс,  
имущество делил, ногами топал,  
хватал холмы, низины и вразброс  
в сердцах швырял, как чашки, — прямо об пол.  
Он расколол Дунаем пополам —  
так, оземь бросив, разбивают блюдо —  
долину, и реки неровный шрам  
округу разделил на Пешт и Буду.

Освоившись, река вросла в рельеф,  
как памятка об отгремевшей ссоре.  
Пороги и преграды одолев,  
вода течет себе как прежде в море,  
а берега остались рядом жить  
и, пожелав взаимного срастанья,  
установили сваи, крепежи,  
заштопали разорванность мостами.

Скользят как водомерки корабли  
и тянут длинный след по ткани жидкой,  
причаливают к краешкам земли,  
сшивая город на живую нитку.  
Все утряслось. Из каменных одежд  
фундаментов, наряден и добротен,  
многоэтажно вырастает Пешт  
и смотрит через реку: там, напротив,

не то поросшим зеленью китом  
плывет гора на половине Буды,  
не то огромным круглым животом  
разлегшегося заспанного будды.  
Огни фуникулера допоздна  
горят, взбегая по головогруды  
холма, но нет, не расколдуют сна  
Будайского и будды не разбудят.

## Жара в Генте

Слоеным теплым пирогом  
неспешно остывает вечер  
на противнях нагретых крыш,  
на плитках кровель.  
Как перец, сыплется кругом  
скворцы из перечниц скворечен,  
и воздух от заката рыж  
и полнокровен.

Закрыт в кладовках туч озон  
для послегрозового рая,  
и дымка застиляет вид  
для фотографий.  
Порозовевший горизонт  
как блин по краю подгорает,  
над черепицей дух стоит  
горячих вафель.

И, прижимая к животу  
ночную площадь, словно грелку,  
не спит старинный городок  
в плену артроза.  
На миг обнявшись на лету,  
на башне часовые стрелки  
показывают, глядя вбок  
на землю: поздно.

В канале мятная вода  
толчет собора отраженье  
и варит круглый циферблат  
яичком всмятку.  
Секунд летучих череда  
сторае в фонаря фужере.  
Шагами полночи примят  
бисквит брусчатки.

## Арфеев и Фридерика

Значит, вот у них как. Кисельные берега, цветники вдоль обочин, а у котов на шеях бубенцы. Мостовые без ям и рытвин. «Ну ни фига себе», — без конца твердит дальнобойщик Арфеев, только теми словами, что лучше знает. Откинув борт, разгружает честь честью тягач с полуприцепом и решает пойти, пятерней наведя пробор, пошататься, попить пивка, присмотреться к ценам. Он гуляет без шапки, хотя на дворе ноябрь, и бубнит то и дело: а как же, город контрастов, и, в акулий оскал заглядевшись до самых жабр, руку держит за пазухой, крепко сжимая паспорт. Захмелев от трех банок «Pils'a» и двух «Козлов», он бредет через парк наугад, и уже нечетки в темноте очертанья беседок, скамей, кустов. Вдруг выходят из тени две или три девчонки. Окружают, трещат, тараторят, не разберешь, имена свои, что ли, все Изабеллы да Фридерики, только как-то на Э... и его прошибает дрожь: от одной из них пахнет сладостью земляники, летним лугом, июнем; и смотрит, хотя молчит, будто век лишь его ждала — и Арфееву век не надо никакой другой. Он в кармане стискивает ключи зажигания, озарясь: увезу ее из этого ада. И ее, шальной от бесстрашия, сам не свой, тянет за руку, а рука холоднее кольца, и, мыча от жалости, просит: пойдешь со мной? И она, о боги, кивает, и на пальцах: мол, а за сколько?

## Матрешки

Кем-то давно подаренные, пыжаты за стеклом, рдея улыбкой, блестя кумачовым лаком, чванясь дородством, но порождая тайком неприязнь у тех, кто до размышлений лаком. Волосатая наша прамаменья, из чьего живота вышли мы, в тысячелетий ретроспективе выглядит жалко: сторблена, несыта, в смрадной пещере, где хаос и теснота, нет существа забитей и шелудивей. Только из этой грязи, цинги, золотух вышли потомки ее, распрямили корпус, своды расширили, мысли, желанья, дух, стали взаправду citius — altius — fortius.

В коммуналке матрешек все ровно наоборот, старшая — всех крупней, потому матроной наречена. Уменьшающийся приплод держит под спудом в утробе своей скобленной, в матриархате матки, откуда век младшим не выйти в дамки. Зато картинно так и живут друг у друга на голове поколениями, без сердца, без пуповины.

## Лубяная изба

Лубяная твоя изба, ледяная мга,  
ты пусти меня внутрь погреться, кругом пурга.  
Отвори, мы ж свои, дай прилечь на твоей печи,  
дай наведаться в тесный погреб, молчи, молчи.  
Потолкаться среди кишок кровяных колбас,  
пораспробовать всласть, какой у тебя запас,  
что за дух идет от подвяленных потрохов,  
нешто звери мы, веди в кружевной альков.  
Изомну чуток покрывал твоих валансьен,  
ничего, по весне отгладишь, небось не съем.  
Отодвинь-ка, зайка, шаньги с угла стола,  
засвети лучину, прежде всего дела.  
Да не стой истуканом, мигом повыбью спесь,  
отвечай путем, не виляй,  
подпиши вот здесь.

Серебряный век проели и ложки в ломбард спустили.  
Остатки гуманной каши нечем и зачерпнуть.  
В пустыне обоз хлопушек. На месте бабахнешь или  
желаешь с доставкой на дом — ракета осветит путь.  
Под лопастью вертолета косматая пальма гнется,  
как бард над гитарой, гривой патлатой своей тряся.  
Экстракт молодильных яблок войны — к лицу полководцу.  
«А лет ему от роду двадцать. — Что, брат? где тут пятьдесят?»\*  
Плоды просвещения — это салюта цветные залпы.  
Прекрасное величаво, успел прошептать шиит.  
Кто знает, к каким высотам и через какие альпы  
всем нам на зимнее время еще переход предстоит.  
Сверяйте часы по башне, по первому часовому,  
его угловатое сердце рубином горит во тьме.  
Свинцовая рамка лучше для дембельского альбома,  
чем просто картон, мамаша, заверят потом в письме.  
Печатающая шаг, как книги, идут миротворцы строем.  
Приказ о духовной жажде к обеду как раз пришел.  
Креститься перед приемом кровавой пищи — героям  
положено по уставу, в две глотки сказал орел.

---

\* Цитата из «Бориса Годунова» А. Пушкина.

## Перепись населения

Мест не было. Все под завязку. (Лука не врал.) — Поглядите и сами уверитесь, — твердили хозяева хором, пока все новые толпы валили на перепись. Растерянный плотник стучался впотьмах в дома и подворья, уставши заискивать: «В углу бы соломки... жена на сносях...» Промаявшись ночь у кострища золистого, к озябшему ослику сбоку припав, кой-как продержались, дрожа у обочины, а там поднялись из опаски, что штраф вчинят, и с рассветом пристроились в очередь. «По клану и роду», так кесарь велел — и все кувырком; в дальний угол закидывая дела, уговор с повитухой, задел заказов, — и в путь, чтоб «из рода Давидова» учетчику буркнуть в оконный проем в дощатом пристрое, а дальше проваливай и топай обратно, вдвоем ли, втроем — кто ж будет терзаться о тле государевой... И тащится ослик, не зная куда, и носом поводит на запах молозива. Приветливо с неба кивает звезда, предчувствуя бога ли, сына ль Иосифа.

...А снегу-то, снегу, — без устали кисть белилами холст покрывает размашисто: проулки, постройки и дерн, что раскис по краю дороги до слякотной кашицы. На кровлях, телегах, на выступах стен, на вретищах нищих, на шляпе у щеголя во Фландрии снег — и покрыт Вифлеем побелкой мороза у Питера Брейгеля. Невесело дома. А ты соизволь писать Рождество в бубенцах раззолоченных. Лютуют испанцы, творят произвол, терзая и так истощенную вотчину. Готовится новое войско пройти по нашим равнинам, — ведь это безделица для Габсбургов, да на кровавом пути погромы и казни снежком не забелятся. В безмолвии вырази муки свои: пространство картины мазками заштопывай, сказанье об ироде перекрой и перепиши его кистью эзоповой. Приметы и знаки укрой по углам, упрячь их в детали, на взгляд неказистые. Ведь все, что случается, это не «там», не «где-то», а с нами, а с нами воистину.

...Рябая рука, отодвинув журнал  
с плохой репродукцией (что-то в заснеженной  
деревне), берется за трубку. Журна  
луны завывает за шторой береговой.  
По сводкам и цифрам скользит карандаш,  
обводит итоги и давится ересью:  
ломается грифель. Ну как тут создашь  
державу, когда беспристрастную перепись,  
и ту извратили. Год тридцать седьмой,  
метр, пятилетка, победы, свершения,  
но где миллионы прироста? кто в бой  
рванет, если надо, живыми мишенями?  
Где грамотность, где этот чертов ликбез,  
а главное — где же триумф отречения  
от веры? Так значит, миряне, чудес  
еще не хватило вам? «Жертва вечерняя»  
не встала вам колом в гортани? Пусть так.  
Все креститесь, все поминаете ирода —  
испробуем веру на прочность. Пустяк:  
подставите щеку, и больше. А выводы —  
все цифры под нож, всех подбивших итог  
статистиков к стенке. Вот меры посильные.  
Рука на журнал для удобства листок  
кладет и в реестр добавляет фамилии.

